
Сергей Кибальник

«ОТРОЧЕСТВО» И «ЮНОСТЬ» Л.Н. ТОЛСТОГО
КАК ПРЕТЕКСТ «ЗАПИСОК ИЗ ПОДПОЛЬЯ»
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Среди важнейших претекстов «Записок из подполья» (1862—1864) далеко не последнее место занимают произведения Л.Н. Толстого. Это повести «Отрочество» и «Юность», опубликованные в журнале «Современник» в 1854 (№ 10) и 1857 (№ 1) годах. В «Записках...» есть довольно заметная отсылка к Толстому, которую следует квалифицировать как неатрибутированную аллюзию.

Вторая, собственно сюжетная часть «Записок из подполья» озаглавлена «**По поводу мокрого снега**». Заглавие это объясняется в последних строках первой части: «Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть *по поводу мокрого снега*» (5; 123). Эта деталь в дальнейшем неоднократно повторяется. Она звучит накануне обеда подпольного героя с «товарищами»: «В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего **мокрого снега**». Она обрамляет весь эпизод первой встречи подпольного героя с Лизой: «**Мокрый снег** валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него», «Я прошел всю дорогу пешком, не смотря на то, что **мокрый снег** все еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении» (5; 151, 163). Именно «мокрый снег», по-видимому, наводит подпольного героя на мысль пугать Лизу картиной могилы, полной воды: «Так в воду и кладут» (5; 154)¹.

Изображая во второй части молодость «подпольного героя», Достоевский вполне закономерно вспомнил повесть Толстого «Юность», которую он, вероятно, прочел вскоре после ее появления. Аллюзия на Толстого в «Записках из подполья» отсылает почти к самому началу «Юности», так что скорее всего замечалась ее первыми читателями. Глава II «Весна» открывается следующими словами: «В тот год, как я вступил в университет, Святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на Страстной я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться. Погода **после мокрого снега**, который, бывало, Карл Иванович называл “сын за отцом пришел”, уже три дня стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями»².

Действие у Толстого происходит не во время, а «после мокрого снега», и погода и вызываемое ею настроение у него соответствующие: «Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: и яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны, — меньше видишь, но больше предчувствуешь» (II, 80). У Достоевского не только погода, но и настроение героя сильно отличаются: «Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая» (5; 124). Позаимствовав у Толстого мотив «мокрого снега», Достоевский сразу кардинально его трансформирует³.

Отмеченную аллюзию на повесть Толстого можно было бы считать бессознательной и даже отнести к разряду случайных совпадений, если бы параллели между двумя произведениями этим и исчерпывались. Между тем это отнюдь не так. В «Записках...» есть еще одна фраза, сказанная в адрес «товарищей» подпольного героя и представляющая собой, по всей видимости, прямую отсылку к автобиографической трилогии Толстого: «Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, непрерывно окружавшего их **детство и отрочество**» (5; 139). Кроме того, ряд эпизодов из второй части повести Достоевского представляют собой своего рода палимпсест отдельных глав «Отрочества» и «Юности».

В XVI главе повести Толстого, озаглавленной «Ссора», описывается, как Иртеньев во время обеда по случаю его поступления в университет выходит в другую комнату, «чтобы закурить папироску, которую» ему «дал Дубков». Там у него происходит «ссора» с «невысоким плотным штатским господином с рыжими усами», который делает Иртеньеву замечание: «Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь», затем начинает его «распекать» за это, оскорбляет, назвав «невежей», узнает его фамилию и адрес, а также сообщает ему свои и, наконец, обещает: «Мы еще увидимся с вами». Вернувшись к брату и приятелям, Иртеньев ничего не говорит им о случившемся, но зато вымещает злость на Дубкове, обратившем внимание на его состояние.

Далее у Толстого идет следующий текст: «Воспоминание о ссоре с Колпиковым, который, впрочем, ни на другой день, ни после так и не дал мне *de ses nouvelles*⁴, было многие года для меня ужасно живо и тяжело. Я подергивался и вскрикивал лет пять после этого, всякий раз, как вспоминал неотплаченную обиду <...> Только гораздо после я стал совершенно иначе смотреть на это дело и с комическим удовольствием вспоминать о ссоре с Колпиковым и раскаиваться в незаслуженном оскорблении, которое я нанес *доброму малому Дубкову*» (II, 123). Когда Иртеньев вечером рассказывает Нехлюдову о ссоре с Колпиковым, тот удивляется «чрезвычайно»: «— Да, это тот самый! — сказал он, — можешь себе представить, что этот Колпиков известный негодяй, шулер, а главное трус, выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть взялась?..» (II, 123).

Эта глава «Юности» оказалась своего рода узлом, из которого возникают многие сюжетные и психологические коллизии «Записок...». Из него, в частности, произрастает эпизод с переставившим подпольного героя с места на место офицером. В отличие от «Юности», в «Записках...» формальной ссоры между ними не происходит: офицер этот был не «из тех, которые соглашались выходить на дуэль», а «из тех господ», которые «предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов у Гоголя, — по начальству» (5; 128). Подпольный герой может только мечтать о формальной ссоре — такой, которая происходит между Иртеньевым и Колпиковым: «Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, *литературную!*» (5; 128). «*Литературная ссора*» — это определение Достоев-

ский мог бы, наверное, дать как раз стычке между Колпиковым и Иртеньевым, которые пользуются условными выражениями, предшествующими формальному вызову на дуэль; показательно, что «весь разговор происходил по-французски» (II, 120). Подпольный герой Достоевского именно о таких разговорах пишет: «Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d'honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным» (5; 129). Не случайно и у него здесь появляется французская терминология. Вместо «литературной ссоры» Толстого он рисует картину «мизерной истории», которую один из его участников даже и не замечает.

Место действительной «трусости» шулера Колпикова, не хотевшего драться после полученной пощечины, в «Записках...» занимает трусость самого подпольного героя, по его собственному определению, «не из трусости, а из безграничного тщеславия» (5; 128). При этом Достоевский, по-видимому, отчасти ориентируется на психологический механизм, подмеченный толстовским Дубковым, который, говоря о Нехлюдове, заметил, что «застенчивость» того происходит «от избытка самолюбия» (оригинал по-французски: “d'un excès d'amour propre” — II, 71).

Иртеньеву сразу после его «ссоры» с Колпиковым приходит в голову «страшная мысль», что он «как подлый трусишка, проглотил обиду» и, следовательно, «поступил как трус». Он решает вернуться в «большую комнату», чтобы сказать Колпикову «что-нибудь ужасное, а, может быть, даже и прибить его подсвечником по голове, коли придется». Изображая психологическое состояние Иртеньева, Толстой подчеркивает его парадоксальную противоречивость: «Я с величайшим наслаждением мечтал о последнем намерении, но не без сильного страха вошел снова в большую комнату. К счастью, г. Колпикова уже не было...» (II, 121). Короткий эпизод на несколько страниц, занимающий, однако, героя Толстого «лет пять после этого» (II, 123), Достоевский превращает в сложнейшую психологическую коллизию, также владевшую подпольным героем на протяжении нескольких лет, которая занимает в его «Записках...» целую главу объемом в десяток страниц и получает последующее продолжение.

Через два года подпольный герой все же, наконец, пишет офицеру письмо, в котором, в случае его отказа извиниться, «довольно твердо» намекает «на дуэль», но и его не посылает, сознавая,

что его вызов «был безобразнейшим анахронизмом» (5; 129). Он решает не уступить дороги, встретив его на Невском, однако «каждый раз» в последний момент сворачивает. Полагая, что «на всякий случай, если, например, завяжется публичная история <...> нужно быть хорошо одетым», он покупает «черные перчатки», «порядочную шляпу», «переменяет воротник» шинели на «дешевый немецкий бобрик» и, тем не менее, даже после всех этих «приготовлений» все время в последний момент уступает дорогу офицеру. Наконец, будучи «в трех шагах» от своего врага, подпольный герой зажимает глаза, они «плотно» стукаются «плечо о плечо», и он возвращается домой «совершенно отмщенный за все», торжествуя и распевая «итальянские арии» (5; 131—132).

Мотив уклонения от дуэли, впрочем, снова намечается в четвертой главе второй части «Записок...», в которой изображен обед подпольного героя с «товарищами», после оскорбительного отклика Ферфичкина на его тост: «— Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворенье за ваши сейчасные слова! — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину. — То есть дуэль-с? Извольте, — отвечал тот, но, верно, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и Ферфичкин, так и легли со смеху» (5; 146). В конце же обеда, когда подпольный герой просит у всех, в том числе и у Ферфичкина, прощения, тот отзывается: «— Ага! Дуэль-то не свой брат!» — и герой в пьяной лихорадке объясняет: «— Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух» (5; 147).

Как Иртеньев затем возвращается в «большую комнату» с намерением сказать Колпикову «что-нибудь ужасное, а может быть, даже и прибить его», так и подпольный герой спешит в публичный дом, куда отправились его «товарищи», с тем, чтобы дать пощечину Зверкову (5; 149). Следовательно, он берет на себя роль, напоминающую роль Иртеньева, который оскорбляет Дубкова, не застав Колпикова. «Литературную ссору» Толстого Достоевский превращает в психологический триллер, направленный на изображение того, что душой современного человека владеет не «чувство собственного достоинства», а «самолюбие»⁵. Только еще собираясь на этот обед, подпольный герой уже «с отчаянием» пред-

ставляет себе, «как все это будет мизерно, не **литературно**, обыденно» (5; 141). Настойчивое противопоставление Достоевским мизерности и обыденности происходящего *литературности*, по всей видимости, основано на его критической рецепции чисто «литературного» изображения подобных вещей, одним из лучших примеров которого была для него повесть Толстого.

Ссора Иртеньева с Колпиковым и вымещение им оскорбления на «невинном Дубкове» отозвались также и в центральной сюжетной коллизии «Записок...»: отношениях подпольного героя с Лизой. Глава «Ссора» заканчивается заключением героя-рассказчика: «Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, после многих лет почувствовав, что на меня напасть можно, выместил на мне, в присутствии брюнета без усов, полученную пощечину, точно так же, как я тотчас же выместил его “невежу” на невинном Дубкове» (II, 123). Совершенно аналогичным образом подпольный герой позднее объясняет Лизе свой разговор с ней в публичном доме: «Меня перед тем оскорбили, за обедом вот те, которые тогда передо мной приехали. Я приехал к вам с тем, чтобы исколотить одного из них, офицера; но не удалось, не застал; надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять, ты подвернулась, я над тобой и вылил зло и насмеялся» (5; 173).

У Толстого Иртеньева также оскорбляют «за обедом», правда, не его «товарищи», а посторонний. Изображая психологию бессознательной мести одному за обиду, нанесенную другими, Достоевский точно воспроизводит механизм, запечатленный Толстым, однако снова заостряет и усложняет его. Иртеньев выместил на Дубкове злобу на Колпикова и досаду, вызванную его собственным поведением во время ссоры с последним. Подпольный герой, которого, по его собственным словам, «растерли в тряпку» его бывшие товарищи, также «власть захотел показать», но власть не внешнюю, а внутреннюю, психологическую. Поэтому он прибегает не к оскорбительным, а к «жалким словам», с помощью которых пытается вызвать интерес и симпатию со стороны Лизы⁶.

Бросается в глаза и общее сходство в содержании обоих произведений. Событийно-психологический ряд «Записок...» представляет собой как бы дайджест «Отрочества» (главным образом последних его глав) и «Юности». Подпольный герой также крайне самолюбивый и одновременно склонный к мечтам, лишь немного

более старшего, чем Иртеньев, возраста (во второй, сюжетной части повести) человек. Как и Иртеньев, он весьма критично воспринимает своих, впрочем, уже бывших и не университетских, а «школьных товарищей», одновременно то гордясь, то вдруг, напротив, унижаясь и заискивая перед ними. Как и Иртеньев, он отталкивается от окружающих и в то же время стремится к ним, испытывая при этом мучительные внутренние противоречия. Так, Иртеньеву на балу, хотя он и сознает, что ужасно ведет себя, «почему-то» недостает «силы уехать», а подпольный герой идет к Симонову, думая, что «напрасно» идет, а затем едет на обед, хорошо понимая, что «всего бы лучше совсем не ехать», и остается на нем, хотя осознает, что лучше было бы уйти: «Сейчас же, сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова. <...> Сию минуту ухожу. Разумеется, я остался» (5; 135, 141, 144—145).

В обоих произведениях имеет место дружеский обед, а в «Юности» еще и «кутеж» у барона З. с питьем жженки, во время которого Иртеньев все время подмечает ощущаемое всеми притворство собравшихся: «Кругом меня все кричало и смеялось, но все-таки не только не казалось весело, но я даже был уверен, что и мне и всем было скучно и что я и все только почему-то считали необходимым притворяться, что им очень весело» (II, 111). Прощальный обед в честь Зверкова проходит, может быть, и вправду довольно весело, только подпольного героя намеренно «позабывают» во время него: «У них было шумно, крикливо, весело» (5; 145). В обоих произведениях происходит «прощание» с одним из товарищей, только в «Юности» это прощание в казарме с Семеновым — студентом, завербовавшимся в солдаты (гл. 54 «Зухин и Семенов»), а в «Записках...» прощание в «Hôtel de Paris» с офицером Зверковым, «отъезжавшим» «далеко в губернию» (5; 135)⁷.

После дружеского обеда герои обоих произведений собираются в публичный дом, с той разницей, что прекраснодушные «товарищи» Иртеньева сами собираются взять его «к тетке», а Нехлюдов не только не едет сам, но говорит, что и его с ними не пустит, после чего Иртеньев вначале заявляет, что и сам не хочет ехать, а затем признается, что говорит «неправду», но все же не едет (II, 118). Подпольный герой едет туда, даже несмотря на то, что его не зовут, и на занятые для этого у Симонова деньги. Соответственно, фабульная сторона «Записок...» отличается от «Юности» в основ-

ном только сценами с Лизой. Предшествующие им эпизоды представляют собой как бы коррекцию толстовского сюжета с товарищами по учебе⁸, связанную с тем, что его героем владеет стремление не к самосовершенствованию, которое декларируют Иртеньев и Нехлюдов, а к самоутверждению, которое провозглашает подпольный герой.

Впрочем, тема «самолюбия» звучит и у Толстого, причем не только в «Юности», но и в «Отрочестве», и проявляется в некоторых, довольно сходных деталях. Так, Иртеньев испытывает болезненные переживания по поводу своего лица: «Я не мог сказать, что у меня выразительное, *умное* или благородное лицо. Выразительного ничего не было, — самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были **скорее глупые, чем умные**. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен не по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика...» (II, 80)⁹.

Подпольный герой «ненавидел свое лицо», подозревая, что «в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства. “Пусть уж будет и некрасивое лицо, — думал я, — но зато пусть будет оно благородное, выразительное, и, главное, **чрезвычайно умное**”. Но я наверно и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его **положительно глупым**. А я бы вполне помирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, **чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным**» (5; 124—125).

Строя планы своего самосовершенствования, Иртеньев постоянно мечтает. Хотя он и сознает, что его могут упрекнуть в том, что мечты его «юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества», он, тем не менее, убежден, что и «стариком семидесяти лет» будет «точно так же невозможно **ребячески мечтать**, как и теперь» и что «нет человеческого существа и возраста, лишённого этой благодетельной, утешительной способности мечтания» (II, 84). Основой его мечтаний теперь являются «четыре чувства»: «любовь к ней», «любовь любви (мне хотелось, чтобы все меня знали и лю-

били)», «надежда на необыкновенное, тщеславное **счастье**», а также «отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с **надеждой на счастье**, что оно не имело в себе ничего печального» (II, 84—85). Подпольный герой тоже мечтает, причем мечтает «ужасно», «по три месяца сряду, забившись в свой угол», и «в эти мгновения» он делается «вдруг героем». Как и у Иртеньева, у него «бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри» него «не ощущалось, ей-богу. Была вера, **надежда, любовь**» (5; 132).

Иртеньев «так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг» делается «самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебного счастливого». Он «все ждал, что вот *начнется*, и он «достигнет всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже *начинается* там, где» его нет (II, 85). Подпольный герой также «слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством» он выступит «вдруг на свет божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке» (5; 132—133), и «всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии» ему «все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом» в его жизни (5; 140).

Если Иртеньев мечтает прежде всего о любви и признании, то подпольный герой — о первенстве («Второстепенной роли я и понять не мог» — 5; 133)¹⁰. Однако, в отличие от Иртеньева, «мечты особенно слаще и сильнее приходили» к подпольному герою «после развратика», «с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами» (5; 132). При этом он переживает в этих мечтах столько «любви», «что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать» (5; 133). По сравнению с героем-рассказчиком автобиографической трилогии Толстого Достоевский все время сознательно заостряет и осложняет психологические противоречия своего героя.

Иртеньев признается, что «в эту первую эпоху юности» на него «часто находило странное желание, без всякой видимой причины, лгать самым отчаянным образом». Ему «кажется, что тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбыточной в жизни надеждой лгать, не быв уличенным в лжи, было главной причиной этой странной склонности».

При этом он оговаривается, что «ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом в более зрелом возрасте» «не замечал за собой порока лжи; напротив», он «скорее был слишком правдив и откровенен» (II, 155). Пристрастие ко лжи он отмечает и в Дубкове: «Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но наверное уже было то, что **он очень часто лгал, не признаваясь в этом**, что я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней» (II, 115). Подпольный герой ничего не говорит о лжи, но и в 40-летнем, и в 24-летнем возрасте обнаруживает такое пристрастие к постоянной борьбе самолюбий с другими людьми, при которой ложь оказывается лишь одним из самых безобидных приемов к преуспеянию.

В общении со своим старшим братом и его товарищами Иртеньев лишь время от времени ощущает равнодушие или стыд за него, вызванное его молодостью и неопытностью: «Хотя в обществе знакомых Володи **я играл роль, оскорбляющую мое самолюбие**, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости...» (II, 67), «Володя как будто **стыдился** иногда перед ним (Дубковым. — С.К.) **за мои самые невинные поступки**, а всего более за мою молодость» (II, 68), «Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего **совершенное равнодушие, которое он мне оказывал**. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания» (II, 69). Иногда Иртеньев даже чувствует скрытое презрение к самому себе: «Я уважал Дубкова, как только может уважать шестнадцатилетний мальчик двадцатисемилетнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек, который отлично танцует, говорит по-французски и который, **в душе презирая мою молодость**, видимо, старается скрывать это» (II, 115). Подпольный герой то и дело встречает со стороны своих «товарищей» открытое презрение, причем, в отличие от Иртеньева, ничто не удерживает его от того, чтобы вступить с ними в прямое столкновение.

Иртеньев решает заметить Нехлюдову, что многие его поступки продиктованы «самолюбием» и что, более того, «всякий человек самолюбив, и все то, что ни делает человек — все из самолюбия» (II, 71). В дальнейшем тексте автобиографической трилогии Толстого встречаются неоднократные намеки на то, что дружес-

кие отношения Нехлюдова с Иртеньевым и другими основаны именно на игре самолюбия: «При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случилось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая все и не замечая, как летит время. <...> Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет себя любить, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку» (II, 73, 75).

При этом Иртеньев оговаривается: «но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему» (II, 73, 75). Однако в дальнейшем мы получаем от повествователя новые сигналы о том, что это не совсем так: «Раз Варенька, разговаривая со мной про эту непонятную для всех нас связь (с Любовью Сергеевной. — С.К.), объяснила ее так: — **Дмитрий самолюбив**. Он слишком горд и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление, **любит быть всегда первым...**» (II, 204), «Единственная причина, по которой он мог выбрать его из всех товарищей и сойтись с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете. Но, должно быть, именно поэтому Дмитрию приятно было наперекор всем оказывать ему дружбу. <...> — Как я уверен, — сказал я, — тебе несносен этот Безобедов так же, как и мне, потому что он глуп и Бог знает что такое; но тебе приятно важничать перед ним.<...> Я скажу тебе даже, что **и твоя дружба к Любови Сергеевне основана также на том, что она считает тебя Богом**» (II, 206, 207—208). Все эти сигналы оказываются совсем небезосновательными в финале «Юности»: «Дмитрий ездил ко мне каждый день и был все время чрезвычайно нежен и кроток; но мне именно поэтому казалось, что он охладел ко мне. Мне казалось всегда больно и оскорбительно, когда он, приходя ко мне наверх, молча близко подсаживался ко мне, немножко с тем выражением, с которым доктор садится на постель тяжело больного» (II, 225—226)¹¹.

Иртеньев прямо сознается в том, что именно чувство превосходства делает особенно приятным для него общение с другими людьми: Дубков «был один из тех **ограниченных** людей, которые **особенно приятны именно своей ограниченностью**» (II, 67)¹². Подпольный герой Достоевского идет дальше, подчеркивая, что чужие доб-

родители и симпатия к ним порождают в его душе только ненависть: «Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький и резвый мальчик, которого все любили. **Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик**» (5; 135).

Из-за отсутствия такого превосходства Иртеньев не может сойтись «с компанией Ивина и аристократов, как их все называли», «потому что, как теперь вспоминаю, я был дик и груб с ними и кланялся им только тогда, когда они мне кланялись, а они очень мало, по-видимому, нуждались в моем знакомстве». По этой же причине его не принимает и большинство других студентов: «Как только я чувствовал, что товарищ начинал быть ко мне расположен, я тотчас же давал ему понять, что я обедаю у князя Ивана Иваныча, и что у меня есть дрожки. Все это я говорил только для того, чтобы показать себя с более выгодной стороны, и чтобы товарищ меня полюбил еще больше за это; но почти всякий раз, напротив, вследствие сообщенного известия о моем рассказе с князем Иваном Иванычем и дрожках, к удивлению моему, товарищ вдруг становился со мной горд и холоден» (II, 192).

Подпольный герой стоит ниже по положению всех своих «товарищей», и именно это пуще всего раздражает его на то, чтобы доказать им свое превосходство. Вообще в «Записках...» дружеские отношения «товарищей» основаны исключительно на признании чьего-то превосходства: «Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов...», «Трудолюбов, <...> преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве» (5; 137). Ничем не отличается от них в этом плане и сам подпольный герой, который откровенно сознается: «Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел **неограниченно властвовать над его душой**; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, — точно он и **нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения**» (5; 140). С учетом вышеприведенных параллелей в этом фрагменте «Записок...» можно видеть своего рода миниатюрную криптопародию на изображение Толстым дружбы Иртеньева с Нехлюдовым¹³.

Криптопародийное «отражение» автобиографической трилогии Толстого можно заметить и в некоторых других, более ранних про-

изведениях Достоевского. Так, например, в опубликованном всего через два года после выхода «Юности» «Дядюшкином сне» идеал «благовоспитанности» Николая Иртеньева, обозначаемый им французским выражением «comme il faut»¹⁴, не раз получает совсем иное, пародийное звучание. С самого начала повествования идеалом подобной «благовоспитанности» объявляется не кто иной, как Москалева: «Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным comme il faut, с которого все берут образец. Насчет comme il faut она не имеет соперниц в Мордасове» (2; 296). Затем князь делится своим наблюдением о том, что глупость в лакеях идет рука об руку с благовоспитанностью: «Но признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп... <...> К лакею это как-то идет, — и даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только случаях. Сано-ви-тости в нем оттого как-то больше, торжественность какая-то в лице у него является; одним словом, благовоспитанности больше, а я прежде всего требую от человека благовоспитанности. Вот у меня Терентий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Терентий? Я, как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза: быть тебе в швейцарах! Глуп фено-менально! Смотрит как баран на воду! Но какая сано-витость, какая торжественность! <...> Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссертацию сочиняет, — такой важный вид! — одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный comme il faut для служащего человека!..» (2; 312—313).

Таким образом, comme il faut, по мнению князя, бывают и лакеи (чего никак не может быть, согласно представлениям Иртеньева, который всех людей делил на comme il faut и comme il ne faut pas, причем «второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ» — II, 172). Впрочем, устами Москалевой и вовсе провозглашается, что за comme il faut можно в случае необходимости выдать любое поведение. Так, обдумывая свою «гениальную мысль» о том, чтобы женить князя на Лизе, она планирует: «Князю представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимое comme il faut» (2; 357).

Некоторые мотивы «Юности» впоследствии отозвались также в повести Достоевского «Кроткая», которая в определенном отно-

шении представляет собой как бы авторимейк «Записок из подполья»¹⁵. Не случайно ее герой признается: «О, меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили» (24; 23) и, как и подпольный герой, свой отказ от дуэли с офицером объясняет: «Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо...» (24; 30). Впрочем, героя «Кроткой» и впрямь, по словам героини, «из полка выгнали за то, что» он «на дуэль выйти» струсил (24; 18). Поставив своего героя на сей раз в ситуацию толстовского Колпикова, Достоевский снова показывает, что за подобными ситуациями скрываются, как правило, более сложные обстоятельства или что, по крайней мере, оказавшиеся в них люди, стремясь представить эти обстоятельства в более выгодном для себя свете, склонны осмыслять их далеко не так однозначно: «— Да, они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому, что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды» (24; 18), «была тираническая несправедливость против меня» (24; 23)¹⁶.

Как отметил А.Л. Бем, говоря о романе Достоевского «Подросток», «“Детство” и “Отрочество” Толстого чрезвычайно поразили Достоевского одною своею особенностью. Достоевский назовет эту особенность позже характерным словом “благообразие”. Жизнь Николеньки протекает на фоне его семьи перед глазами читателя и на всем ее протяжении ни разу не нарушается своеобразное “*comme il faut*”, примененное к области душевной жизни. Всё — и чувства горести и чувства радости, и семейные разногласия, и социальные отношения — всё искусно окутано особой дымкой лирического “благообразия”, за которым, при всей изумительной глубине и тонкости психологического анализа, не чувствуется хаотического начала человеческой души. Достоевскому, которому особенно близка была именно эта хаотическая сторона души человеческой, непонятна была эта причесанность человеческих отношений в “Детстве” и “Отрочестве”»¹⁷. Как мы теперь видим, это восприятие повестей Толстого Достоевский выразил в своем творчестве задолго до создания романа «Подросток».

Еще более оно укрепилось после его создания. В «Дневнике писателя» на 1877 год Достоевский прямо писал об автобиографической трилогии Толстого, что она для него «теперь не более лишь как исторические картины давно прошедшего» (25; 173), произведение, в высшей степени характерное для «поэта и историка се-

мейства средне-высшего дворянского круга», который «есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни» (25; 32). Сам же Достоевский видит теперь задачу первостепенной важности в том, чтобы дать «черты какой-то новой действительности», черты «жизни разлагающейся» и «семейства разлагающегося» (25; 35).

А.Л. Бем убедительно показал, что художественный замысел романа «Подросток», «соответствовавшего по заделу “Юности” Толстого», «находится в связи с впечатлениями от чтения Достоевским произведений Толстого» и что роман «явился художественным ответом Толстому»¹⁸. Как мы видели, есть все основания, чтобы распространить эту мысль также и на «Записки из подполья». Художественное воплощение сложности и противоречивости человеческой природы Достоевский строил, прямо ориентируясь на «диалектику души» Толстого, одновременно развивая и углубляя ее, в том числе и посредством внутренней полемики с Толстым.

Любопытно, что Толстой, в свою очередь, также не прошел мимо художественного опыта «Записок из подполья». Так, например, в первой части «Анны Карениной» о Вронском, только что испытавшем глубокое впечатление от встречи с Анной, сказано: «Если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и самодовлеющ. Он **смотрел на людей, как на вещи**. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже **толкал его**, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский **смотрел на него все так же, как на фонарь**, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнания его человеком, и не мог от этого заснуть» (XVIII, 111).

Следующие детали Толстого: «Смотрел на людей, как на вещи» и «смотрел на него <...> как на фонарь» — звучат как отзвук возмущения подпольного героя: «Со мной поступили, как с мухой!» (5; 132), а фраза «даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек» напоминает эпизод «Записок из подполья», в котором после множества тщетных попыток не уступить дорогу офицеру он, наконец, преуспевает в этом, зажмурив глаза: «мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге!» (5; 132).

Может быть, непроизвольно Толстой явно опирается здесь на психологические открытия Достоевского в его изображении подпольного героя, сделанные его великим современником в их внутреннем писательском «диалоге».

Примечания

¹ Этот «мокрый снег» отозвался впоследствии у Чехова в его криптопародии на Достоевского «Слова, слова, слова» (<1883>) (Назирова Р.Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия // Назирова Р.Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сборник статей. — Уфа, 2005. — С. 159—168), а также в рассказе «Тоска» (<1886>).

² Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. — М.; Л., 1928—1958. — Т. 2. — С. 80. Далее цитаты из произведений Л.Н. Толстого — даются по этому изданию с указанием номера тома римской и страницы арабской цифрами в тексте.

³ «Мокрый снег», как и «сырой дождик», является неизменным элементом петербургского пейзажа в произведениях писателей «натуральной школы», на что П.В. Анненков указал еще до написания «Юности» и «Записок из подполья» (в статье «Заметки о русской литературе» (1849); см. об этом в комментариях к «Запискам...» — 5; 385). Однако это не отменяет разительности данной параллели между Достоевским и Толстым.

⁴ известий о себе (франц.).

⁵ Еще в романе «Село Степанчиково и его обитатели» (<1859>) повествователь рассуждал: «Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее *самолюбие* есть только ложное, первоначально извращенное *чувство собственного достоинства*, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах?» (3; 12). Между прочим, мотив этот, как и «Село Степанчиково...» в целом (см.: Кибальник С.А. «Село Степанчиково и его обитатели» как криптопародия // Достоевский. Материалы и исследования. — Т. 19 / Ред. Н.Ф. Буданова, С.А. Кибальник. — СПб., 2010. — С. 108—142), тесно связан с участием Достоевского в собраниях Петрашевского, а именно с одним из двух выступлений писателя на них. Сам Достоевский в своих показаниях Следственной комиссии рассказывал об этом выступлении следующим образом: «Что же касается второй темы: о *личности* и *эгоизме*, то в ней я хотел доказать, что между нами более амбиции, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий» (18; 129).

⁶ «Жалкие слова» — один из бросающихся в глаза лейтмотивов романа И.А. Гончарова «Обломов». Так Захар называет про себя укоризненные речи

Обломова в его адрес, которые одни только и действуют на него. Достоевский не просто «переносит» эту формулу в свою повесть (Туниманов В.А. «Жалкие слова» («Обломов» Гончарова и «Записки из подполья» Достоевского) // Pro memoria. Памяти академика Георгия Михайловича Фридендера (1915—1995). — СПб., 2003. — С. 168—178), а, как и в случае с мотивами толстовской «Юности», усложняет ее значение и функцию. Из проникновенной укоризны «жалкие слова» превращаются, по точному обозначению исследователя, в «риторическую западню», направленную (что существенно, но не было им отмечено) не на укоризну, а на обладание психологической властью над девушкой, в конце концов в нее и попавшей. К этому стоит добавить, что тоже своего рода «жалкие слова», какие Обломов говорит Захару, подпольный герой то и дело обращает к Аполлону, с той разницей, что, невзирая на них, все равно постоянно проигрывает психологическую дуэль со своим слугой. Это обстоятельство только оттеняет неискушенность в психологической борьбе, присущую Лизе. Не исключено, что с учетом этой очевидной аллюзии к «Обломову» начальные строки шестой главы первой части: «О, если бы я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это неприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен; значит, есть что сказать обо мне. Лентяй! — да ведь это званье и назначенье, это карьера-с» (5; 109) — также вызваны недавно прочитанным романом Гончарова.

⁷ Между двумя этими произведениями можно провести еще множество конкретных параллелей. Например, Нехлюдов говорит Иртеньеву: «Ты спрашиваешь, **думаю ли я жениться** на ней?» (II, 140), а Зверков в «Записках...» объявляет своим «товарищам»: «— А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня **чуть не женился**... И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня **чуть не женился**» (5; 144). Однако в настоящей работе мы не останавливаем внимание на параллелях, которые могут иметь характер чисто внешнего и случайного сходства.

⁸ Характер этой коррекции отчасти определяется тем, что страницы «Записок из подполья», посвященные «школьным товарищам», как отметил еще А.С. Долинин, автобиографичны и посвящены «тяжелым воспоминаниям» «собственного воспитания» Достоевского в Военном инженерном училище (Достоевский Ф.М. Письма / Под ред. А.С. Долинина. — М.-Л.: ГИЗ-Гослитиздат, 1928—1959. — Т. IV. — С. 454). В письме к И.В. Ждан-Пушкину от 17 мая 1858 г., т.е. за несколько лет до написания «Записок из подполья», писатель вспоминал: «...я был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитавших себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независи-

мого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами и не одного, не двух!» (28, I; 309).

⁹ Немногие из этих деталей, характеризующих Иртеньева, Достоевский сам впоследствии подчеркнул в «Дневнике писателя»: «Он смотрит на себя в зеркало слишком часто и решает, что он уродливо нехорош собою. У него мелькают мечты, что его никто не любит, что его презирают...» (25; 32). Достоевский называет эти страницы «Отрочества» (по определению комментаторов академического издания, «главы XI—XVI», но в действительности также, и даже в особенности, главы I—III) «чрезвычайно серьезным психологическим этюдом над детской душой, удивительно написанным» (25; 32). Впоследствии этот этюд Толстого, безусловно, отразился и в образе Коли Красоткина из романа «Братья Карамазовы».

¹⁰ Этот иртеньевский мотив впоследствии отозвался также в «Подростке»: «Постоянно унижаемый Аркадий тоже мечтает — сначала о Версилье, о том, как тот спасет его от Тушара; когда же он до конца осознал ложность своего положения — родилась мечта о мести. Мечта превратилась в “идею”, идея требует осуществления — вот та “черта новой действительности”, которая отличает “отпрыска благородного графского дома” от “случайного” члена “случайного семейства” и которую Достоевский определил коротко и выразительно: “Помечтал, да и сделал”» (Пушкарева В.С. «Детство» в романе Ф.М. Достоевского «Подросток» и в первой повести Л.Н. Толстого // Филологический сборник (Статьи и исследования) (Учен. зап. Ленингр. гос. педагог. института им. А.И. Герцена. — Т. 460). — Л., 1970. — С. 113—122). См. также: Пушкарева В.С. Дети и детство в творчестве Ф.М. Достоевского и русская литература второй половины XIX века. Учеб. пособие. — Белгород, 1998.

¹¹ А.Л. Бем следующим образом формулировал возможное восприятие Достоевским времен «Подростка» «автобиографической трилогии» Толстого: «Он, современник Толстого, видел кругом себя иную жизнь, и его детские воспоминания рисовали ему иные картины! А разве в семье Иртеньевых обстояло все так благополучно? Достоевский мог только горько улыбнуться такому вопросу» (Бем А.Л. Художественная полемика с Толстым (К пониманию «Подростка») // О Достоевском. Сб. статей под ред. А.Л. Бема. — Прага, 1929/1933/1936. — М., 2007. — С. 537). Достоевский, безусловно, ощущал — причем не только в 1870-е, но уже и в 1850-е годы — не только неблагополучие в семье Иртеньевых, но и глубокие внутренние противоречия между Николенькой и даже дружественными к нему героями.

¹² Подпольный герой тоже пользуется этим определением, говоря о Симонове: «Даже не думаю, что он был очень уж ограничен» (5; 135).

¹³ По предположению В.С. Нечаевой, в этих строках отражаются «какие-то черты памяти о дружбе» Достоевского с его другом по Инженерному училищу Бережецким (Нечаева В.С. Ранний Достоевский. 1821—1849. — М., 1979. — С. 80). Вероятность этого предположения тем больше, что Бережецкий, по словам старшего дежурного офицера Инженерного училища А.И. Савельева, был «под сильным влиянием Достоевского, слушался

его и повиновался ему, как преданный ученик учителю» (Миллер О.Ф. Материалы для жизнеописания Ф.М. Достоевского. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. — СПб., 1883. — С.38). Тем не менее, в психологической интерпретации Достоевским истории этой дружбы в «Записках из подполья», возможно, отразилось также и восприятие писателем дружбы Иртеньева с Нехлюдовым.

¹⁴ Идеалу этому, на который Иртеньев, по собственным словам, «несколько раз» «намекал» в течение своего рассказа, посвящена также XXXI глава «Юности» «Comme il faut».

¹⁵ См. об этом, например: **Живолупова Н.В.** «Кроткая» и эволюция жанра *исповеди антигероя* в творчестве Достоевского // *Dostoevsky Studies. New Series.* — 2000. — № 4. — С. 129—142.

¹⁶ В «Кроткой» есть еще один мотив, который перекликается с «Юностью» Толстого: «в женщинах нет оригинальности» (24; 15). Ср. многочисленные подтрунивания Володи над Катенькой и Любочкой и то, что Иртеньев «не мог не подумать, что Володя был совершенно прав» и «всякий раз встречал в них такое отсутствие способностей логического мышления и такое незнание самых простых, обыкновенных вещей» (II, 167).

¹⁷ **Бем А.Л.** Художественная полемика с Толстым. — С. 535.

¹⁸ **Бем А.Л.** Художественная полемика с Толстым. — С. 547, 539. Впоследствии В.С. Пушкарева показала, что «воссоздавая в романе “Подросток” “лик мира сего”, который ему “очень не нравится”, Достоевский внутренне ориентируется на Толстого, скрыто, а порой и явно (как в эпилоге романа) полемизирует с ним» (**Пушкарева В.С.** «Детство» в романе Ф.М. Достоевского «Подросток» и в первой повести Л.Н. Толстого. — С. 113—122).